



Мария Всеволодовна Крестовская

(1862 - 1910 г)

Ранние грозы

Ранние грозы

Продолжение

(начало в № 60)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XV

Окончание.,

9 апреля Марья Сергеевна проснулась очень рано. Она хотела съездить к доктору и доделать Колино платье, в котором на следующий день хотела его причастать. Это платье для причастия она специально шила ему сама, и делала это с особенною любовью и заботливостью. На другой день она собиралась в церковь, причастать сына: во-первых, потому, что ей казалось, что никто, кроме нее, не сумеет сделать это, не простудив ребенка, а во-вторых, потому, что она любила то торжественное, умилявшее ее чувство, которое всегда наполняло ее в ту минуту, когда она подносила своего Колю к чаше со Святыми Дарами.

После разговора с Аристархом она чувствовала себя успокоенною и ободришеюся. Ей так страстно хотелось верить в возвращение Виктора Алексеевича, что довольно было пустых слов Аристарха, чтобы эта вера в ней воскресла и укрепилась. Марье Сергеевне казалось теперь, что Виктор Алексеевич непременно должен возвратиться к следующему воскресенью, и мысленно, она даже старалась вычислить и предугадать тот день, когда он вероятнее всего может прибыть в Петербург. Его молчание уже не беспокоило ее, и мысль, что это молчание может означать что-то другое, помимо его лени, как заверял Аристарх, уже не приходила больше ей в голову и не пугала ее.

Она мечтала, что сразу, как вернется, он сейчас же приедет к ней, позвонит; она сразу узнает его звонок, всегда своеобразный и отлично изученный ею. И Марье Сергеевне уже представлялось, как кинется она ему навстречу, сама распахнет дверь на лестницу и... И его фигура в бобровой шинели и шапке вставала перед ней на светлом пространстве распахнутых дверей так живо и ясно, что она видела ее в мельчайших подробностях, начиная от мягких складок длинного капюшона шинели, коричневой родинки на шее возле отложного воротника рубашки, и кончая морозными каплями тающего снега в светлой вьющейся бороде и модными рыжими перчатками. Таким, бывало, приезжал он в последнее время перед своим отъездом и точно таким же представлялся ей теперь. Она мысленно окидывала эту картину одним взглядом счастливых глаз, и чувство радости, восторга, счастья и любви, которое, казалось ей, наполнит ее в тот миг, когда она увидит его, охватывало ее уже теперь при одной мысли о свидании.

Она все время была оживлена, радостна и весела в своем терпеливом ожидании. Моральное оживление как бы усиливало и ее физическое тело. Всю неделю, несмотря на усиливавшуюся боль в левой стороне груди, она чувствовала себя гораздо лучше и здоровее. Настолько лучше, что уже колебалась, ехать ли ей к доктору сегодня или же, отложив этот визит до следующего приема, теперь быстрее заканчивать Колино платье...

За эти дни она как бы вновь похорошела и помолодела вследствие радостного возбужденного ожидания. Она снова начала заниматься своим туалетом для того, чтобы, в случае возвращения, он не застал ее врасплох - непричесанною, неодетою и неинтересною. Она с утра надевала изящное серое платье, которое, как ей казалось, шло ей больше других, и сильно затягивала в корсет свою расплывшую талию, хотя это было крайне вредно для нее, и врачи вообще запретили ей носить его. Но ее полная фигура без корсета казалась ей такой расплывшеюся и некрасивою, что она ни за что не хотела показаться ему так в первый день его приезда. С мельчайшими, почти неуловимыми хитростями, свойственными только женщине, она всячески старалась сделать себя красивее и моложе, только чтобы показаться ему интереснее и не вызвать

невольного разочарования. И теперь ее склонившаяся над швейной машинкой головка, еще не потерявшая своего тонкого абриса шеи и профиля, была причесана с особою тщательностью и вниманием.

Дошив, наконец, беленькое платье и закрепив последнюю нитку, Марья Сергеевна в изнеможении опустила руки. Машинка всегда страшно утомляла ее, действуя дурно даже на сердце. Вследствие этого она почти никогда не шила на ней и только на этот раз сделала исключение. Платьице, белое, все из *broderies anglaises*, с широким голубым кушаком, вышло прелестным, и, подняв его в руках, Марья Сергеевна, любуясь, поворачивала его в разные стороны. Спокойно откинувшись на спинку кресла, она с улыбкой разглядывала его, мысленно представляя, какой нарядный будет в нем Коля. Вдруг что-то стукнуло в детской, как будто упало что-то тяжелое, и вслед за тем раздался пронзительный крик и плач маленького Коли.

Марья Сергеевна вздрогнула, вся резко побледнела, испуганно бросила платье и быстро кинулась в детскую. Коля, упав, по-видимому, с постели няньки, на которую та его положила, лежал на полу и страшно кричал, а няньки в комнате не было.

Марья Сергеевна с жалобным стоном бросилась к нему и, быстро подняв его, страстно и нежно прижимала его к своей груди, целуя и утешая его. Мальчик, упав, стукнулся лицом, и из его ссаженного носика лила кровь. Марья Сергеевна видела только, что все его лицо в крови; от испуга и ужаса в первую минуту она совсем растерялась и не могла сообразить, что ей делать и как помочь. Ей казалось, что с Колей случилось что-то ужасное, и она растерянно металась с ним по комнате.

Вбежавшая на крик, нянька испуганно бросилась к ней, но Марья Сергеевна, увидев ее, вдруг поняла, что во всем виновата только она - эта нянька, которая, оставив Колю одного, убежала в кухню. Няня, чувствуя свою вину, оправдывалась, что-то говорила, охала и утешала, но Марья Сергеевна не слушала. Она страстно прижимала к себе Колю, словно боясь, что он опять упадет, и взволнованная, потеряв всякое самообладание, не слушая и не понимая ничего, кроме того, что Коля в крови, кричала с искаженным от негодования лицом:

- Как ты смела... Как ты смела уйти?.. Бросить ребенка... Как смела... Как ты смела...

Волнение не давало ей говорить, она задыхалась и вся дрожала от испуга и гнева. Оглушенный криком двух женщин, маленький Коля уже перестал сам плакать и только жалобно всхлипывал, глядя удивленными глазенками то на мать, то на няню. Но Марья Сергеевна, чувствуя, что совсем задыхается и почти падает от волнения, перестала кричать, бессильно опустилась на стул и, не выпуская из рук ребенка и тяжело дыша, прикладывала к его лицу наскоро смоченный платок, целуя его головку.

Кровь перестала идти и мало-помалу Коля совсем успокоился. Но Марья Сергеевна все еще как будто не веря, что он цел и вовсе не разбился, тревожно осматривала его.

- Я только на минутку отлучилась, - говорила растерянно нянька, подавая новый компресс. - Иной раз и на дольше, да ничего... Господь милует. А тут, скажите на милость, какой грех вышел...

Марья Сергеевна молча махнула рукой и, взяв чашку с водой и компрессами, вышла с Колей на руках в свою комнату. Эта нянька всегда раздражала ее своей неумелостью, но в эту минуту она не в состоянии была даже видеть ее. "Да, - думала она, - если бы была Феня..." При мысли, что Фени нет, что она безжалостно и неблагодарно бросила ее одну - больную и беспомощную, с грудным ребенком на руках, ей сделалось вдруг так обидно и горько, что она чуть не заплакала. Она вдруг почувствовала себя такою измученной, одинокой, всеми покинутой... И в это мгновение даже оживлявшая ее вера в возвращение Вабельского вдруг пошатнулась и погасла. Она угрюмо смотрела куда-то в пространство сухими и строгими глазами, и тихо качала ребенка.

Коля опять заплакал. Она молча поднялась со стула и начала ходить с ним взад и вперед по комнате, стараясь укачать его на своих руках. Своею тяжестью он оттягивал ей руки, и они неприятно ныли и затекали, но она не обращала на это внимания, вся поглощенная своими мыслями и ощущениями.

В душе ее происходило что-то странное, новое и непонятное для нее самой. Но это странное и непонятное вдруг начало проясняться и открывать ей что-то, чего раньше она не видела и не понимала. Перед ее внутренним взором как бы начала спадать завеса, которая скрывала от нее самой ее душу и жизнь. И то, что теперь открывалось ей, пугало и поражало ее. Она сама не могла объяснить себе, каким образом мысль о Фене могла вызвать в ней начало этого странного переворота. Но чувствовала, что вызван он именно мыслью о ней и о том, что она, Феня, бросила ее и ушла. Наташа и Феня были единственными существами, оставшимися ей от преж-

ней жизни, людей и общества. Но Наташа, оставаясь с ней, в душе по-прежнему принадлежала всем существом своим той жизни и тем людям, от которых ушла; тогда как Феня вместе с ней вполне вошла в то новое, с которого начался новый этап ее жизни - с новыми людьми, привязанностями и условиями. И теперь от этого нового опять не оставалось ничего, даже самой Фени, с уходом которой оно как бы окончательно порвалось, рухнуло и исчезло.

Ей казалось теперь, что жизнь ее разделена на две половины. И обе они воскресали и ожидали перед ней с необыкновенною ясностью и точностью. Даже само существо ее как бы двои-лось: первое было чуждо второму; второе - непонятно первому. Первая половина всецело принадлежала Наташе и Павлу Петровичу, жила их жизнью, чувствовала себя неотъемлемою частицей их существования, неразрывно связанного с ее собственным существом, тогда как для второй - "новой" половины они были уже чужды и, отодвигаемые какою-то иною силой, уходили куда-то в глубину и ощущались ею смутно и даже неприятно. По мере того, как они все дальше и дальше отходили от нее, менялась и сама она. Ее прежнее душевное "я" как бы перерождалось, переливаясь в совсем иную, нежели прежняя, форму. И вдруг в эти минуты в ней снова начала просыпаться "она - прежняя", совсем уже было затихшая и исчезнувшая за второй период ее жизни. И теперь оба эти существа вдруг встретились в ней и остановились, пораженные, лицом к лицу, друг против друга, не понимая и удивляясь одно другому. И она сама, в каком-то странном смятении, с ужасом всматривалась в свою душу, словно прислушиваясь к той борьбе и перевороту, который совершался в ней, и не постигала, которое из этих двух "я" сильнее, правдивее и даже ближе ей...

Но чем больше пробуждалась в ней "прежняя" Марья Сергеевна, чем сильнее чувствовала она ее в себе, - тем меньше она верила в то, во что верила и на что надеялась вторая, "новая". И эта первая, более спокойная и благоразумная, как бы силилась доказать ей, что все, чем она живет теперь, во что верит и что считает целью своего существования, - ложь.

«Да, это ложь, - говорила она, как бы убеждая и доказывая себе. - И ты это знаешь. И все-таки нарочно лжешь себе, обманываешь себя. Ложь, что он любит тебя! Ложь, что он даже любил тебя... Так не любят! Ты любишь сама, значит, знаешь, что это такое. Сознайся, разве то чувство - каким ты любила его, похоже сколько-нибудь на его чувство к тебе? Нет, нет и нет! А ты нарочно лжешь самой себе! Он уехал только для того, чтобы отвязаться от тебя, и ты это знаешь! Ты чувствовала это еще в ту минуту, когда он за обедом сказал, что уезжает. Предчувствовала даже намного раньше, что так будет. И все-таки верила его лжи о возвращении... насильно, наперекор разуму заставляла себя верить. Ты понимала эту ложь еще тогда, когда он не хотел вот этого ребенка, и на твоё признание ответил молчанием, и тогда - ты уже лгала, утешая и успокаивая самое себя. Лгала еще раньше - когда старалась в своем увлечении обвинить мужа и его неумение вызывать в тебе страстное чувство... на котором ты потом добровольно сожгла себя! Ну, и что же дало тебе это чувство? Счастлива ты теперь? Довольна? Это то, чего ты искала, к чему так страстно стремилась и ради чего разрушила все, чем жила раньше; и не только одна ты - и твоя дочь, и твой муж! Их бросила - ты, а теперь бросили тебя! Но так и должно было случиться, когда ты сама желала бросить их. Ты ведь не заручалась, кажется, их согласием, не спрашивала - желают ли они этого? Не спрашивала и самое себя: имею ли я на это право? Ты думала и заботилась только о себе. А теперь, когда бросили тебя, ты ужасаешься, плачешь и не хочешь верить этому! У тебя недостает даже смелости и честности сознаться себе. И ты добровольно закрываешь глаза, придумываешь себе разные сказки, цепляешься за них всеми силами, боясь невольно потерять в них веру. А между тем, если бы у тебя была гордость и самолюбие, ты сама - первая! - покончила бы с этой фальшью... А ты унижалась и перед ним, и перед собой, выпрашивая у него уже не любви - нет! - ты этого не смела. Но только милости - не бросать тебя совсем, и хоть изредка кидать тебе немного ласки... Ты насильно, нарочно давила в себе всякую гордость, всякий стыд и самолюбие, чтобы только они не мешали тебе унижаться перед ним - вымаливать эти ласки и милости... И, несмотря на все эти оскорбления и унижения, ты все-таки побежишь к нему, как только он позовет тебя..!»

Марья Сергеевна ярко вспыхнула от стыда и оскорбления. Ей казалось, что теперь она ни за что этого не сделает. Но какой-то другой, внутренний голос неутомимо подсказывал: «Нет, побежишь! Отчего же тебе не бежать; ты не видела еще полного унижения женщины! Что же, попробуй! Может быть, понравится. Может быть, ты и тогда сумеешь лгать себе и уверять, что это счастье, а не позор...».

Взволнованными шагами Марья Сергеевна ходила по комнате с заснувшим на руках ребенком. Ее пылающее лицо дрожало от оскорблений, которыми она беспощадно бичевала себя, точно находя в них какое-то болезненное, мучительное наслаждение. Руки затекли и ныли от усталости, и эта ноющая ломота отзывалась тупой болью во всем левом боку. Она вдруг бессоз-

нательно заметила эту боль и, взглянув на ребенка, убедилась, что он крепко спит. Тогда, как бы отрешившись на мгновение от душевной борьбы, подошла к своей кровати и осторожно опустила ребенка, обложив его со всех сторон подушками, чтобы не упал. И только тут почувствовала, как страшно устала. Руки ее посинели и затекли от утомления, ноги дрожали и подгибались в коленях...

Она подошла к маленькому столику с графином. Налив дрожащею от волнения рукой стакан воды, выпила большими глотками. Хотела опуститься в большое кресло возле машинки. Но, проходя мимо, задела и нечаянно уронила белое Колино платье. Наклонилась, чтобы поднять. Оно упало под самую машинку, и было неудобно достать его рукой. Тогда, перегнувшись всем телом на левый бок, она протянула руку к тому месту, где лежало платье, - и уже дотянулась до него, - как вдруг в ее груди что-то дрогнуло: страшная судорожная боль словно скомкала, сжала сердце... Марья Сергеевна с глухим стоном судорожно вцепилась в свою грудь - и бессильно рухнула на пол.

XVI Наташа, не слушая и не понимая, что говорила едва поспевавшая за ней няня, почти бежала по улице, не догадываясь даже взять извозчика, чтобы быстрее доехать. Она видела в конце улицы только большой, серовато-желтый каменный дом - такой уже знакомый теперь, и не спускала с него испуганных глаз, точно хотела сквозь стены увидеть то ужасное, что ожидало ее. Из всего, что говорила, плача и путаясь, бежавшая нянька, она поняла только первые слова: "С маменькой несчастье". И дальше уже не слушала. Потому что после этих слов - все другое казалось неважным, ничтожным...

Поспешно, задыхаясь, взбежала на третий этаж. На площадке лестницы ее дождалась заплаканная Марфуша, новая горничная, поступившая на место Фени.

- Матушка, барышня... - проговорила она и, закрыв лицо передником, громко заплакала.

Наташа, не глядя на нее, бросилась в отворенную дверь квартиры. Торопливо скидывая шубу и шляпу, не останавливаясь, пробежала прямо в комнату Марьи Сергеевны.

На пороге остановилась на мгновение. Тревожно оглядев комнату и сразу найдя глазами то, что искала, бросилась к кушетке, на которой, вытянувшись во весь рост, лежало закрытое одеялом тело Марьи Сергеевны...

- Мама! Мама! - заговорила испуганным, сдавленным голосом Наташа.

Быстро откинув мешавшее одеяло, она опустилась на колени перед кушеткой и схватила дрожащими руками холодные руки матери.

- Мама! - повторяла она, трясая ее за руки, впиваясь полными ужаса глазами в лицо Марьи Сергеевны, на которое уже ложились мертвые восковые тени. - Мама! Что ты... Что с тобой? Мамочка, милая! - и, склонясь над ней, она целовала ее руки, лицо; приподнимала голову, заглядывая в закрытые глаза...

Силой того ужаса, который инстинктивно охватил ее, Наташа бессознательно догадывалась, что с Марьей Сергеевной случилось нечто страшное, окончательное. Помочь чему - уже нельзя. Но поверить этому она не хотела. Не могла. И с негодованием заглушала в себе эту мысль.

Не выпуская рук Марьи Сергеевны, Наташа старалась приподнять ее - как бы желая насильно заставить этим встать... ожить. Но видя, что и руки, и голова падают, - как только она перестает поддерживать их, - она терялась и испуганно оглядывалась по сторонам...

- Господи! - закричала она вдруг громко. - Да дайте же воды! Марфуша, там есть спирт! Нашатырный... в пузырьке, на этажерке... Да дайте же скорее, ради Бога! Мамочка, милая, сейчас, сейчас... - и, как бы утешая и успокаивая мать, она поспешно расстегивала лиф ее платья дрожащими непослушными пальцами. Руки у Наташи были так холодны, что она почти не чувствовала мертвенного холода матери.

- Барышня, милая, да на что же теперь спирт? - заговорила, плача, Марфуша. - Все равно не поможет... - и заплакала еще сильнее.

Они с нянькой пугливо стояли в дверях спальни, прижимаясь одна к другой. Всхлипывая и плача, заглядывали в лица покойницы и Наташи. Но подойти ближе не решались.

Когда Марфуша сказала, что спирт все равно не поможет, Наташа быстро подняла голову и оглядела ее глазами, полными негодования и отчаяния: Марфуша вслух сказала то, о чем Наташа только догадывалась с мучительным ужасом, но во что всеми силами души не хотела верить...

- Как не поможет?! Как не поможет?! - страстно вскрикнула она. - Разве ты понимаешь?! Разве ты доктор?! Боже мой, Боже мой, няня, голубушка, милая, достань же доктора, позови!

Скажи: «Скорее... очень нужно!» - и, поднявшись с колен, подбежала к няньке и начала обнимать и целовать ее с нежностью.

- Да я, матушка, мигом! Будьте спокойны: доктор-то в нашем же доме и живет. Сейчас, барышня-матушка! Сейчас, родная! Мигом слетаю, не тревожьтесь. Бог даст, Господь милостив будет!

Накинув на голову платок, старуха торопливо выбежала на лестницу. Марфуша молча стояла несколько минут на пороге комнаты, пугливо оглядываясь по сторонам, точно боялась каждую минуту увидеть что-то страшное. Но заметив, что барышня не глядит на нее, тихонько вышла и - осторожными шагами, прокравшись через гостиную - бросилась бегом на лестницу.

Наташа даже не заметила, что осталась одна. Она молча опустила на край кушетки и снова, взяв руки матери в свои, начала растирать и согревать их своим горячим дыханием. Но руки не согревались и уже начали коченеть тем особенным холодом, который присущ только мертвому телу. По осунувшимся и слегка уже заострившимся чертам Марьи Сергеевны разливались восковая желтизна и торжественное спокойствие. Наташа не спускала глаз с этого лица, старательно ища в нем признаки жизни. Но чем больше вглядывалась, тем меньше оставалось надежды. Она уныло выпустила мертвую руку и молча, с каким-то странным удивлением глядела, как бессильно упала она на кушетку...

XVII Благодаря няньке Наташа была избавлена от личного участия в тяжелых для нее приготовлениях к похоронам. Старуха живо вошла роль, которая, по-видимому, ей очень даже нравилась, и деятельно взялась за все приготовления.

Наташа вошла в свою комнату и тяжело опустилась на стул. Странное оцепенение охватило ее. Она как бы не чувствовала ни горя, ни тоски, ни даже жалости: в душе царили пустота и темнота. К этой погасшей жизни она привыкла со дня своего рождения, с того момента, когда стала помнить и осознавать себя. И чем яснее становилось в ней сознание своего существования, тем нераздельнее сливалось оно с существованием матери и отца. Из всех миллионов людей, живущих на земле, ни одно существо не казалось ей столь важным и необходимым для мира, как именно эти два, бывшие необходимыми и важными для нее самой.

Она никогда еще не видела смерти так близко и ясно. Теперь же она явилась ей в лице родной матери, и потому делалась еще ужаснее и непонятнее. Наташа припоминала мертвое лицо матери, силась мысленно прочесть в нем ту страшную загадку, которую ее ум был не в силах постигнуть. "Умерла... - машинально повторила она про себя, - ее нет уже... И уже никогда не будет больше. Старая няня, бывало, говорила: умрет - к Богу пойдет". Но Бог, Которому она привыкла молиться, незримое присутствие Которого она, бывало, чувствовала в церкви, о Котором никогда не думала, но Который всегда был так близок, так прост и понятен ее душе, теперь - в эти минуты, когда она, захваченная впечатлением смерти, силилась постигнуть Его - не приходил к ней на помощь...

Наташа с удивлением оглядывала знакомые стены, не понимая, почему все осталось таким же, как было и раньше? Почему не переменялось ничего, когда переменялось столь многое? Все стояло на своем месте, даже вот этот стакан с недопитым чаем... Да, когда она утром, перед уходом в гимназию пила этот чай, думала ли она, что "это" случится? И вчера, и все эти дни, приходила ли ей в голову, хоть на мгновение, такая мысль? И вот это случилось. Вдруг, сразу, когда никто этого не ожидал; и мама, быть может, тоже. Наташа вспомнила, что даже не знает, как это случилось. Нянька что-то говорила: «услышала, будто упало что; вбежала - а барыня-то лежит на полу, вся как-то изогнувшись, головой как раз к машинке, и руки в стороне, под креслом, в платье вцепились...» Значит, возле матери никого не было? - она ничего даже не сказала?

И каждый раз, когда Наташа вспоминала, что в ту минуту никого не было при матери, что она умерла совсем одна, становилось мучительно больно и горько. Точно специально все бросили! И она сама... Ее спрашивали на экзамене одну из первых, и если бы она хотела, то давно уже могла бы уйти. Быть может, если бы она вернулась, она бы еще успела застать мать в живых; быть может, тогда бы даже и не случилось этого...

Мысль, что она могла прийти - и не пришла, мучила, терзала, точно страшный, тяжелый грех. Периодически на Наташу словно нападал столбняк, - она сидела широко открыв глаза и бессознательно глядела в одну точку. Но как только до нее долетали пониженные голоса и какой-нибудь стук из комнаты, где явившиеся на помощь няне и Марфуше женщины "убирали" Марью Сергеевну, Наташа вздрагивала и снова все вспоминала. И снова мысли настойчиво возвращались к тому, что она «могла прийти - и не пришла». Порой ее охватывало страстное

желание узнать все - до малейших подробностей - как это случилось: что мама делала в ту минуту, о чем думала? И вспоминала, что узнать этого нельзя уже никогда, ни от кого...

Еще сегодня утром они могли говорить друг с другом, чувствовать жизнь и мысли друг друга. Теперь же - прошло всего несколько ничтожных часов, и это уже невозможно. Все пережило ее, даже вот этот голубой платок, который она сама связала в начале зимы. Даже этот счет, который она записывала вчера вечером, лежит цел и невредим, на том же самом месте, куда она сама положила его... Думала ли она тогда, что прежде, чем кто-нибудь переложит этот ничтожный клочок бумаги на другое место, она уже перестанет существовать?

И этот клочок счета, и голубой платок, казавшиеся Наташе такими ничтожными, теперь в ее глазах вдруг становились чем-то священным и загадочным: казалось, каждая буква и петля в них имела, свое таинственное, глубокое значение. Ей живо представлялась фигура Марьи Сергеевны в сером фланелевом, в мелкую клеточку капоте, когда вчера вечером она стояла, слегка наклонившись над столом, и писала эту записку своею бледною длинною рукой с тонкими голубыми жилками... Марфуша стояла возле нее и подсказывала - сколько и чего записать. И когда она закончила, Марфуша вдруг заметила на ее спине длинную прядку волос, нечаянно не забранную в косы, уже причесанные на ночь.

- Ах, барыня! - сказала Марфуша. - Какую прядку-то оставили! Это вам «дорога»: куда-нибудь поедете, видно...

Марья Сергеевна подняла руки, достала прядку и пришила ее к остальным волосам.

- Куда уж мне ехать? - отвечала она полушутя, полупечально. - На тот свет разве...

И лицо матери, с грустной, задумчивой насмешкой, стояло теперь перед глазами Наташи, и сам голос звучал внутри нее так ясно и живо.

Но чем живее звучал голос, тем ужаснее и невероятнее казалось, что он уже не прозвучит снова... никогда, никогда! Каким все это простым и незначительным казалось ей вчера, и каким странным и пророческим стало сегодня! Ей вспоминались разные мелочи из недавней жизни, какой-нибудь разговор, взгляд, слово, - все всплывало в ее памяти, и все получало теперь другое, какое-то таинственное и странное значение. Вспоминалось, что она не успела передать матери, например, такой пустяк - что встретила Феню и что говорила с ней; Феня обещала прийти проведать барыню, и просила кланяться. Все эти дни Наташа забывала передать это Марье Сергеевне, а теперь передавать было уже некому. Это "некому" поражало Наташу своей загадочностью, и она снова с ужасом спрашивала себя: "Неужели никогда? Совсем, совсем никогда?" И мысленно силилась понять всю необъятность этого страшного "никогда", и представить себе тот момент, когда оно, может быть, кончится и наступит что-то иное - еще более загадочное и таинственное, чего ее ум не в силах даже представить себе...

Среди ужаса и смятения, в котором пребывала душа Наташи, вдруг проскальзывал светлый луч, на мгновение озаряя ее всю радостным предчувствием. Но, прежде чем оно сформировалось окончательно, ее уже охватывали стыд и раскаяние за то, что она может теперь, в такое время, ощущать какую-нибудь радость. И, смущенная и негодующая на себя, она старалась насильно заглушить ее в себе. Но тихое отрадное чувство все-таки теплилось где-то в самой глубине души, смущая совесть. Да, завтра приедет отец... Завтра...

Наташе невольно казалось, что смерть одного принесла с собой воскресение другого. То, что случилось, было страшным несчастьем. Но это несчастье было бы еще ужаснее, если бы не было "его". И мысль, что она завтра увидит отца, невольно наполняла ее счастьем. Под впечатлением первой минуты она телеграфировала ему: "Мама скончалась, приезжай немедленно. Наташа". Она не могла тогда думать ни о чем, кроме того, что "она умерла". Не подумала, что эта телеграмма может слишком сильно подействовать на отца. Теперь эта мысль пугала ее. Потеряв одну, она невольно боялась и за другого. Но инстинкт подсказывал, что теперь это не будет для него таким страшным ударом, каким было бы два года назад. Он уже раньше потерял ее... И в ее голове мелькнула другая мысль, в которой было больно и стыдно сознаться: "Да, это гадко, но все же это так; и мне... мне было бы гораздо тяжелее, если бы это случилось тогда..."

За последние годы столько изменилось, и они так привыкли к горю и страданию, что даже самое страшное не может уже действовать так сильно, как могло бы раньше. «Да, но, может быть, если бы этих перемен не случилось, - думала Наташа с горечью, - то не случилось бы теперь и этого..! Мать слишком многое перенесла за эти ужасные два года, они надломили ее, а между тем, если бы жизнь ее шла все так же спокойно и счастливо, как прежде, кто знает, умерла ли бы она еще?» И тут он! Во всем, во всем он! Он отнял у них и счастье, и спокойствие, и любовь ее, и даже саму ее жизнь! Вдруг вспомнился тот вечер, когда Наташа поджидала его за углом дома и просила его, умоляла, унижалась перед ним, чтобы только он не

бросал мать. Она предвидела тогда, что разрыв окончательно убьет ее. И глаза Наташи снова загорелись недобрым огнем, который всегда появлялся при мысли о Вабельском.

Неужели никто не заплатит ему, не отомстит?! Боже, как она ненавидит его! С каким бы наслаждением она убила его! Желание убить, уничтожить его жизнь - так же, как он уничтожил в их семье все счастье, было так сильно в ней, что если бы он вошел к ней в эту минуту, она бы бросилась на него... не задумываясь ни на одну секунду. Понимание, что она не может ничего сделать, что она даже не знает - где он, возмущало еще больше. Наташа ходила по комнате, бледная как полотно, и только темные глаза вспыхивали страстным огнем.

Вдруг где-то вдаль раздался детский плач. Наташа вздрогнула и остановилась.

- Коля! - проговорила она вслух с ужасом и удивлением, как будто этот плач поразил и испугал ее.

За все утро она ни разу не вспомнила, не подумала о нем. Забыла его. Теперь это напоминание вдруг встало перед ней со всею силой. Она молча остановилась посреди комнаты, прислушиваясь к долетавшим до нее крикам. Да, вот он! Вот он! О, не только нельзя отомстить этому ненавистному человеку... нельзя даже забыть его - вычеркнуть навсегда из жизни и воспоминаний. И пока будет существовать этот его ребенок, они всю жизнь должны будут помнить Вабельского и чувствовать все зло, которое он причинил им и матери. Вот она связь, которая навсегда свяжет их воспоминанием о несчастном прошлом. Нет, нет, этого не будет, не должно быть! Если не для нее, Наташи, то хоть ради ее несчастного отца! Он не должен видеть этого ребенка, чтобы иметь возможность хоть когда-нибудь забыть всю горечь, позор и страдания, которые один раз уже перенес. Неужели ради этого ребенка несчастный отец должен будет опять мучиться и страдать? Нет, нет и нет! Но куда же его деть? Куда его деть! О, если бы его не было совсем! Отдать куда-нибудь - совсем, навсегда; положить ему на воспитание деньги, чтобы не нуждался впоследствии. У нее есть тридцать тысяч от бабушки, на приданое, да еще осталось что-нибудь от матери; вот эти деньги и отдать ему - все положить на его имя. Но только - чтобы больше уже никогда не видеть, не слышать о нем, и забыть, все-все забыть!

«Господи, быть может, это грех, прости мне, прости, но я не могу любить его. Грех это - и пусть грех! Но я не могу, не хочу, не должна даже пересиливать себя и заставлять себя любить "его" ребенка! Его - который убил мать, опозорил отца и разбил все наше счастье, всю любовь. Грех ведь было бы также убить этого человека, и все-таки я бы убила его, если бы только наша! Боже мой, Боже мой! Да что же мне делать, что же мне делать! О, научи и помоги!». Голова горела, казалось, что если это продлится еще немного, то она сойдет с ума, и она с ужасом хваталась за голову. Наташе хотелось заплакать, но слез не было, только нервная судорога сжимала горло...

А Коля где-то все плакал и плакал, и чем сильнее и громче становился его плач, тем мучительнее ныла душа Наташи. Дверь в ее комнату приотворилась, и няня заглянула к ней.

- Матушка, барышня, пойдите к Коленьке, нам никому нельзя!

- Что? - Наташа с недоумением обернулась к ней. - Что вам?

- К Коленьке, говорю, матушка, пойдите; я, как освобожусь, сразу приду. Там молочко и булка есть на столике, покормите его покамест.

Наташа опустила глаза и отвернулась от нее.

- Хорошо... - сказала она тихо, точно с трудом. - Идите.

XVIII Наташа вошла в Марфушину комнату, куда второпях унесли Колю, и остановилась у кровати. Мальчик, почти совсем голенький, в одной рубашонке, лежал на постели горничной и громко кричал. От крика у него затекла и даже посинела головка, расстегнутый ворот рубашки был весь мокрый от слез. Увидев, что к нему подошли, он замолчал на мгновение, но потом, поняв, что это не та, кого он звал, снова заплакал и закричал.

Наташа сумрачно смотрела на него. Вот они, эти голубые прозрачные глаза, так похожие на "его" глаза... Она угрюмо стояла, не зная, что ей с ним делать и как успокоить. При жизни матери она не только никогда не нянчилась с ним, но, избегая его, ни разу не держала даже на руках. Теперь она неумело и застенчиво протянула к нему руки. Но он не давался, и заплакал еще громче.

Наташа с недоумением оглядывалась по сторонам, ища что-нибудь, что могло бы его успокоить, и вдруг увидела молоко и булку, про которые говорила нянька. Она машинально взяла их со стола и поднесла к нему. Мальчуган приподнялся и, слегка повернув к ней голову, взглянул исподлобья - сначала на нее, потом на сладкую булку, которую она держала. И, вдруг перестав плакать, только тихо всхлипывая, потянулся ручонкой за булкой.

Наташа села рядом с ним на постель и все так же, машинально, подняла его и посадила к себе на колени, чтобы было удобнее кормить. В комнате было свежо, она чувствовала, как похолодели его ножки. Одной свободной рукой, боясь пролить молоко и уронить Колю, она достала с постели одеяло и постаралась закутать его так, чтобы ему было теплее.

Мальчик, по-видимому, озяб и проголодался. Теперь, чувствуя себя в тепле, понемногу успокоился. Болтая ножками, он жадно запихивал в свой маленький рот кусочки сладкой булки. Но вдруг, отломив кусочек, улыбаясь и заигрывая, он залепетал что-то на своем непонятном детском языке, поднося булку ко рту Наташи...

Она неосознанно улыбнулась ему и тихо ответила:

- Кушай сам...

Но он упрямо качал головой и хотел, чтобы она непременно взяла. Наташа взяла булку и сделала вид, что ест. Коля засмеялся, захлопал ручонками и, отхлебнув из кружки молока, подтолкнул ее к Наташе, заставляя отпить и ее. Ему, очевидно, нравилось кормить ее; он смеялся, кричал и хлопал ручками каждый раз, когда та отхлебывала из его кружки.

Теплом своего маленького тельца он согревал ее. Кормя его, она невольно улыбалась ему, ощущая в глубине своей души что-то странное. Его улыбка и детская требовательная нежность, с которой он обращался с ней, невольно трогали ее и вызывали какое-то теплое чувство. Но мысли и ощущения, которые она только что опять пережила в своей комнате, были в ней еще слишком сильны; помня их, она специально заглушала в себе нежность, как бы насильно борясь с ней. «Да, это "его" глаза, "его" лицо, и когда он вырастет, он будет живым слепком с "него"!» Но наперекор ее желанию, эти мысли уже не вызывали в ней озлобления и раздражения, как раньше. И каждый раз, как он, улыбаясь, протягивал ей ручонку с булкой, она не находила в себе силы подавить невольную улыбку, нежность, и жалость к нему, которая все больше и больше поднималась в ее душе.

Но Коля уже не хотел есть. Отломив большой кусок булки, он вдруг проговорил, показывая на дверь:

- Мама!

Наташа вздрогнула и побледнела. Она поняла, что он просится к матери и хочет отнести ей этот кусок булки. Ничего не отвечая, она только крепче прижала его к себе и тихо поцеловала мягкие вьющиеся волосы на лбу. Коля, увидев, что она не встает, обхватил ее шею ручонкой и весь тянулся к двери, настойчиво повторяя: "Мама". Если бы он знал! Если бы он мог понять, что с его мамой... Глубокая жалость все сильнее охватывала ее; она молча с нежностью прижимала ребенка к своей груди - и вдруг заплакала.

- О, мама, мама! - машинально повторяла она за ним, рыдая. И вдруг, будто только в эту минуту, она поняла - как сильно любила ее, и что потеряла. И то холодное, горделивое отчуждение, с которым она обращалась с матерью все последнее время, встало перед ней живым укором, и терзало мучительным раскаянием и тоской...

Ребенок, пораженный ее слезами, глядел на нее испуганными и удивленными глазенками. И вдруг заплакал сам, громким детским плачем. Обхватив ее ручонками за шею и целуя, прижался к ней. Наташа чувствовала, что он плачет, целует ее и ласкается к ней, точно хочет утешить...

Ласкает ее! Ее, которая всегда так ненавидела его, которая порой желала даже его смерти... И вот, он не умер. Но остался один. Совсем один - брошенный, никому не нужный. И она хотела его бросить... «О, мой милый, милый, бедный мальчик! За что! Только за то, что ты - его ребенок? Нет, нет, неправда: не его, а только ее!» Только это будет она помнить отныне. И то, что со смертью матери у него не осталось никого, - никого, кто заботился бы о нем, любил бы его... Никого! И он же - маленький, беспомощный, не понимающий ни страдания, ни горя, ни ненависти - ласкается к ней, целует и утешает ее. За то, что она хотела бросить его, избавиться от него навсегда...

- О нет, никогда! Прости меня, прости! - и, горячо целуя его, она шептала ему: - Не бойся, не бойся, моя крошка, мальчик мой, я не брошу тебя. Нет, нет, я твоя теперь, вся твоя, на всю жизнь твоя! И она горячо и нежно прижала его к себе, точно защищая от чего-то, и осыпала его поцелуями.

XIX Маленький Коля будто инстинктивно понимал свое сиротство и то, что для него теперь все заключается в одной Наташе. За один день он так привык к ней, что начинал плакать и рваться к ней, как только кто-нибудь другой хотел взять его на руки. Он привязался к ней с той

быстротой и инстинктивной любовью, на которую способны только маленькие дети, привязывающиеся порой за один день к понравившейся им няньке.

Эта любовь еще больше действовала на впечатлительную Наташу. Когда Коля, прижимаясь к ней, обнимал ее шею своими пухленькими теплыми ручонками и, смеясь и что-то лепеча, гладил и целовал ее лицо, ей вдруг делалось так отратно, что она улыбалась ему какою-то особенной, до сих пор не свойственной ей улыбкой и нежно целовала его в большие светлые глаза. Она уже не чувствовала ужаса, отчаяния и тоски, которые терзали ее утром. На душе была только тихая, спокойная грусть и ясное отрадное чувство, которое впервые охватило ее в ту минуту, когда Коля прижался к ней и заплакал. Она сама уложила его на ночь спать, и он не выпустил ее руки, пока не заснул. Так делала, Марья Сергеевна, и, зная это, Наташа держала его маленькую руку с особенным чувством, радуясь, что заменяет ему ту, которой уже нет... из ревности к которой ненавидела когда-то его самого...

Почти всю ночь просидела она в детской, чутко прислушиваясь к дыханию Коли, тревожно вскакивая при каждом его движении. И подходя к нему, глядела с задумчивою лаской в его спящее, покрасневшее личико.

Когда она вспоминала, что Павел Петрович еще не знает ничего о том, что она решила по поводу маленького Коли, ее охватывало тревожное сомнение. Быть может, ему будет слишком тяжело и неприятно исполнить ее решение? Быть может, она не смеет, не должна даже просить отца об этом? Она знала, что он согласится, только боялась, что это будет ему больно и трудно. И ей снова делалось мучительно больно, тяжело и тоскливо, и она опять начинала молиться: «Господи, помоги ему... Помоги ему полюбить его... Вложи, Господи, в его сердце ту любовь, что вложил в мое...» С горячею верой она вглядывалась в лик Спасителя и верила, что Он ей поможет...

Через комнату от нее слышались монотонные голоса монахинь, читавших над покойницей Псалтирь. Проходя мимо незапертых дверей, Наташа видела возвышавшийся на столе белый гроб; в нем - неясные контуры тела, закрытого кисеей и покровом, и рядом слабо мерцающие высокие свечи.

Осторожными шагами, боясь разбудить ребенка, Наташа вышла из комнаты и молча, с грустной задумчивостью, вглядываясь в лицо матери, опустилась на колени у гроба. Ей казалось, что в этом спокойном восковом лице, прекрасном мертвою торжественною красотой, она видела тот же мир и то же спокойствие, которые настали и в ее душе...

«Ты веришь мне, дорогая? - мысленно спрашивали Наташа с тихими радостными слезами. - Верь своей Наташе и не бойся, ему будет хорошо...» Она с благоговением целовала мертвую руку матери, и говорила ей, как живой, страстно веруя, что мать видит и слышит ее: «А меня прости за все... За все... И люби меня - там - так же, как ты прежде любила свою Наташу». Из глаз катились слезы и, падая, впитывались в тонкое кружево и кисею, покрывавшие грудь Марьи Сергеевны. Уходя из этого мира, она как бы уносила с собою слезы и любовь дочери...

XX Когда на следующее утро приехал Павел Петрович, Наташа только-только одевала проснувшегося Колю. Она сидела на стуле, придерживая его одной рукой, другой - надевала ему башмачки. Войдя в ее комнату, Павел Петрович увидел сразу обоих.

Услышав шаги, Наташа обернулась, вспыхнула и просияла. И быстро подняв Колю, но не спуская его с рук, рванулась навстречу отцу. Маленький Коля, увидев незнакомого высокого человека в большой меховой шапке и шубе, испугался. Откинувшись в сторону, заплакал, пряча головку на плече Наташи.

Наташа, взволнованная, остановилась на мгновение посреди комнаты, не зная, что делать - оставить ли Колю и броситься к отцу, или успокоить сначала ребенка. Она тянулась одною рукой к отцу, а другою - крепко прижимала к себе плачущего Колю.

- Не надо... Не надо... - радостно шептала она ему, утешая и успокаивая. - Это папа, Коля, папа!

Ее душа в эту минуту была так полна восторгом и любовью, оба этих существа казались ей такими близкими и дорогими, что она, как бы чувствуя полное единство между собою и ними, невольно соединяла их, забывая все, что их разделяло.

Павел Петрович, боясь еще больше испугать ребенка, молча, со счастливым и ласковым лицом стоял в дверях, не решаясь подойти ближе. С нежным удивлением глядел и на Наташу, и на маленького Колю, прижимавшегося к ее груди... Вместе с ней он машинально, с улыбкой, повторял кричавшему и не дававшему им даже обняться мальчугану:

- Не надо, не надо...

Наконец, Коля успокоился; поднял кудрявую головку с плеча Наташи и сбоку, сердито и недоуменно разглядывал Павла Петровича.

- Он такой дикий... - торопливою скороговоркой говорила Наташа, блестя счастливыми глазами, и вдруг, рванувшись вперед, быстро приклонила его голову ближе и осыпала, смеясь и плача, страстными поцелуями его лицо и руки.

Радость их свидания была так велика, что в первую минуту они даже забыли, что заставило их свидеться. Но когда они хотели заговорить, оба вдруг вспомнили это, и им обоим стало совестно за то, что они могли это забыть. Их лица стали серьезными и печальными, и все те слова, которые только что хотели сказать друг другу, пропали вдруг и уже казались им неуместными и пошлыми.

Наташа первая заговорила тихим и робким голосом:

- Ты видел?..

Она не спросила прямо - что он видел, но знала, что он поймет ее и что говорить прямо им обоим будет еще больнее и тяжелее. Павел Петрович молча кивнул головой и, отведя глаза от дочери, задумчиво, но неосознанно взглянул на Колю. Коля совсем уже успокоился, примирился с ним, и уже тянулся с рук сестры к цепочке и брелокам Павла Петровича.

- Как это случилось? - спросил Павел Петрович, все еще не глядя на дочь.

Наташа вспыхнула и слегка отвернула лицо:

- Я не знаю... - заговорила она смущенно. - Меня не было... Я была в гимназии... - прибавила, как бы поясняя. - А когда пришла... все было уже кончено, - договорила она тихим упавшим голосом.

И они снова оба замолчали, машинально следя, как Коля тянулся к брелокам, но думая совсем о другом...

- Буль-буль, - залепетал вдруг Коля, поднимая глаза к лицу Павла Петровича.

Он все игрушки называл "буль-буль", и теперь, принимая брелоки за игрушки, тянулся к ним, желая непременно достать. Павел Петрович улыбнулся той слабой, рассеянной улыбкой, которою взрослые часто машинально улыбаются детям, почти не думая о них в этот момент.

Коля, видя, что Павел Петрович не обращает внимания на его просьбу, повернулся к Наташе и, обхватив ее лицо своими ручонками, настойчиво повторял ей "буль-буль". Наташа застенчиво и робко взглянула на отца.

Павел Петрович все с тою же задумчивою улыбкой отстегнул цепочку с часами и, отдав ее Коле, молча смотрел на него. А Наташа, вдруг вспомнив, что отец не знает еще ее решения, крепче прижала к себе Колю и, склонив к нему свое лицо, тихо поцеловала его.

Павел Петрович серьезно и даже угрюмо глядел на него. Наташа молча подняла на него свои глубокие темные глаза.

- Папа... - начала она тихим, печальным голосом.

Павел Петрович вдруг опустил голову и глаза. Наташа еще ближе придвинулась к нему и положила руку на его руку.

- Возьмем его... себе... - заговорила она все так же робко и застенчиво. - Он не виноват...

Ей вдруг вспомнилось, как год тому назад эти же слова сказала Марья Сергеевна ей, Наташе. Но тогда она не верила, не хотела, не могла найти в душе доброго чувства к этому ребенку. И вот теперь она сама просит об этом отца. Она еще нежнее сжала его руку и, мучительно томясь, ждала, что он скажет...

Видя, что отец молчит, она заговорила опять, не спуская с него печальных просящих глаз:

- Прости ее, папа...

Павел Петрович приподнял голову и слегка пожал ее холодную, дрожащую от волнения руку.

- Я уже давно простил ее, Наташа... - сказал он грустным и глухим голосом.

- Так для нее... Я обещала ей... Папа, у него никого нет... никого...

Голос ее дрожал и прерывался. Павел Петрович сумрачно молчал, глядя на них исподлобья. И вдруг в лице его что-то дрогнуло - и светлые точки заблестели в его глазах. Он молча прижал к себе Наташу и поцеловал ее долгим, крепким поцелуем.

Он ничего не ответил, но по лицу его и глазам Наташа все поняла, - засияв радостью, она кинулась к отцу на грудь и зарыдала.

Павел Петрович тихо и нежно прижал к себе ее голову, и молча целовал. Наташа плакала, прижимаясь к нему; её лицо было в слезах, но на душе - светло и легко...

Конец

М.В. Крестовская.